ЭДВАРД П. ДЖОУНЗ

ЗНАКОМЫЙ НАМ МИР

РОМАН

Перевод с английского
Марины Извековой

phantom press

Москва

УДК 821.111
ББК 84(7Сое)
Д42



THE KNOWN WORLD by EDWARD P. JONES

Copyright © 2003 by Edward P. Jones

Все права защищены. Любое воспроизведение, полное или частичное, в том числе на интернет-ресурсах, а также запись в электронной форме для частного или публичного использования возможны только с разрешения владельца авторских прав.

Книга издана при содействии HarperCollins Publishers
и Литературного агентства Эндрю Нюрнберга

Перевод с английского Марины Извековой
Редактор Игорь Алюков

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

Эдвард П. Джоунз
Д42 Знакомый нам мир: Роман / Пер. с англ. М. Извековой. — М.: Фантом Пресс, 2026. — 480 с.

Виргиния, 1850-е годы. На американском Юге, где судьбы людей определяются цветом кожи и законами рабовладельческого общества, умирает чернокожий Генри Таунсенд — бывший раб, ставший владельцем собственной плантации и десятков рабов. Его смерть запускает цепь событий, которая затрагивает множество жизней и обнажает сложную, противоречивую природу власти, свободы и человеческого достоинства. Эдвард П. Джоунз создает масштабную панораму вроде бы знакомого мира, в котором привычные представления о добре и зле, жертвах и угнетателях оказываются не столь очевидными. В романе сплетаются несколько судеб — хозяев, рабов, вольных, сложный клубок социальных и личных отношений постепенно разматывается в драматичную историю о свободе воли, об обществе, построенном на зависимости, о том, как несправедливость воспринимается нормой там, где человеческое достоинство считается едва ли не грехом.
“Знакомый нам мир” — почти библейская история, даже рассказанная едва ли не в библейском стиле. Роман получил Пулитцеровскую премию, это одна из важнейших книг современной американской литературы, глубокое и эмоциональное размышление о свободе, достоинстве и цене выбора.

ISBN 978-5-907943-27-8

© Марина Извекова, перевод, 2026
© Андрей Бондаренко, оформление, макет, 2026
© “Фантом Пресс”, издание, 2026

1 УЗЫ. ТЕПЛО СЕМЬИ. ВРЕМЯ ГРОЗ

В день, когда умер его хозяин, он распустил по домам усталых и голодных взрослых, среди них жену, а сам опять задержался в поле. Детей, в том числе сына, он отправил домой на час раньше — приготовить поздний ужин, а если останется хоть несколько минут, поиграть перед заходом солнца. Когда Моисей выпутался наконец из ветхой упряжи, в которой он вёл самого старого из хозяйских мулов, о солнце напоминал лишь

рыжеватый отсвет, лежавший мягкой волной меж двух гор на горизонте. В поле Моисей пробыл без малого четырнадцать часов. Он постоял ещё, объятый вечерней тишиной. Мул вздрагивал — от усталости, от тоски по дому. Моисей прикрыл глаза, наклонился, взял щепотку земли и положил в рот, машинально, будто отщипнул кукурузного хлеба. Размял землю языком и проглотил, запрокинул голову, а когда открыл глаза, отблеск на горизонте уже растаял в вечерней синеве. Из здешних мужчин — и рабов, и вольных — землю ел он один; рабыни, особенно беременные, ели, безотчётно стремясь восполнить то, чего не могла им дать другая пища — ни яблоки, ни шпик, ни кукурузные лепёшки, а Моисей ел, чтобы узнать, чем хороша или плоха почва, и, главное, ощутить связь с тем единственным в его маленьком мирке, чем он дорожил почти как своей жизнью.

Был июль, и земля ещё сильнее отдавала сладостью металла, чем в мае-июне. Всходы пробуждали в почве что-то живое, железистое — к середине августа оно начнёт выветриваться, а к сбору урожая и вовсе улетучится, сменится затхлой кислинкой, возвещающей приход холодов, конец его близости с землёй, что началась в марте, до первого весеннего ливня, с первой щепоткой земли во рту. Солнце уже закатилось, а луна ещё не показалась, и его, словно одеялом, накрыла тьма; до конца борозды он добрался, ухватившись за хвост мула. На краю поля он отпустил мула и, опередив его, устремился к хлеву.

Мул потрусил следом, и когда Моисей, устроив его на ночь, вновь вышел на воздух, пахло дождём. Моисей вдохнул всей грудью, вобрав в себя напоённую влагой свежесть. Думая, что рядом никого, он улыбнулся.

Опустился на колени, чтобы быть ближе к земле, вдохнул ещё раз. Когда ощущение свежести притупилось, он, постояв ещё, свернул, уже в третий раз за неделю, прочь с тропы, что вела к двум рядам хижин — к дому, к жене и сыну. Жена давно знала, что к ужину его ждать не стоит. Лунными ночами он видел, как дым клубится над хижинами, — там его мир, там пища, и отдых, и нехитрый домашний уют. Он повернулся вправо, на крики играющих детей, потом влево, на щебет последней дневной птахи в дальней роще.

Он пошёл напрямик через кукурузное поле к клочку леса, где ничего ценного не росло с тех самых пор, как хозяин купил этот лесок у одного белого, который разорился и вернулся в Ирландию. “Мне там, за океаном, улыбнулась удача, — врал он ирландской родне, а рядом стояла, скрючившись, его смертельно больная жена, — но очень уж стосковался без вас и без щедрот родного края”. А росли на том пятачке в три акра мягкая сизая трава, которой брезговал скот, да деревья неизвестных пород. Дождь застиг Моисея у края леса и полил сильней, когда он углубился в чащу. Потоки воды струились сквозь кроны, сквозь пышную июльскую листву, и вскоре Моисей остановился, сложил ковшиком ладони, набрал пригоршню воды и умылся. Потом разделся донага и лёг на землю. Чтобы вода не заливалась в нос, свернул валиком рубаху и подложил под голову. В старости его скуёт, словно цепями, ревматизм и он будет винить такие вечера и ночи, когда он забывался сном на голой земле и приходил в себя только утром, весь мокрый от росы.

Земля пропиталась влагой насквозь. Листья смягчали дробь дождя, и капли едва касались лица и тела

Моисея, словно чьи-то нежные пальцы. Моисей открыл рот, нечасто ему случалось вот так встретиться с дождём. Всё это время он лежал с открытыми глазами; набрав полный рот дождевой воды, он взял в руку член. Хватило всего нескольких движений, и он закрыл глаза, повернулся на бок и задремал. Спустя где-то полчаса дождь вдруг прекратился, погрузив мир в тишину, и тишина разбудила его. С земли он поднялся, как всегда, с неохотой. Он был в грязи, листьях и лесном соре, потому что во время дождя сквозь лес промчался ветер. Он обтёрся штанами и припомнил, как в прошлый раз дождь лил долго и отмыл его дочиста. В тот раз он был сам не свой от счастья, и смеялся, и кружился — со стороны могло бы показаться, что он танцует. А сейчас он не знал, что на него смотрит Элис, здешняя дурочка, — вот уже полгода, с тех самых пор как хозяин её купил, она бродила ночами, а на него наткнулась впервые. Знай Моисей, что Элис здесь, решил бы, что она всё равно ничего не поймёт, если учесть, как сильно, по слухам, лягнул её мул на плантации в отдалённом округе, чьё название помнила лишь она одна. В светлые минуты, которые выпадали редко, Элис могла подробно описать тот воскресный день, когда мул ударил её копытом в лоб и вышиб из неё разум. Все ей верили на слово, ведь рассказывала она так живо, так печально — тоже ведь подневольная душа, да ещё и в уме повредилась настолько, что бродит ночами, словно неприкаянная скотина. О её родных местах толком никто не знал, не знали и того, что прежний её хозяин до смерти боялся мулов и в поместье их не держал, даже картин с мулами и книг о них в доме не водилось.

Моисей вышел из леса в кромешную тьму и зашагал к плантации и даже безлунной ночью не сбился с дороги. Все свои тридцать пять лет он прожил рабом — сначала у белого, потом у другого белого, а теперь, уже без малого десять лет, — надсмотрщиком у чёрного хозяина.

Калдония Таунсенд, жена хозяина, в последние шесть дней, когда её муж мучительно умирал, спала урывками. В первый день с утра приходил доктор, который лечил белых, — по настоянию матери Калдонии, верившей, что белые способны творить чудеса, — но он сказал лишь, что хозяин Моисея, Генри Таунсенд, всего-навсего прихворнул и скоро поправится. Болезни у чёрных и белых разные, и быть сведущим в одних ещё не значит разбираться в других, и доктор знал, что Калдонии даже объяснять этого не нужно. Доктор не понял, что её муж при смерти. И ушёл в разгар дня, унося в кармане семьдесят пять центов от Калдонии — шестьдесят за осмотр Генри, пятнадцать на износ коляски, одноглазой клячи и самого доктора.

Генри Таунсенд — негр тридцати одного года, владелец тридцати трёх рабов и пятидесяти с лишним акров земли, далеко не последний человек среди белых и чёрных в округе Манчестер, штат Виргиния, — в те дни по большей части полусидел в постели, ел жидкую овсянку и смотрел в окно на свои владения, по которым, как уверяла его жена Калдония, ему ещё ходить и ходить, ездить и ездить верхом. Но Калдония была молода, неопытна и ей довелось пережить всего одну смерть — отца, которого отравила жена. На четвёртый

день смертельной болезни Генри стало тяжело сидеть и он вынужден был лечь. Тогда, в июле 1855 года, он всю ночь утешал жену. “Ничего не болит, — повторял он. — Ничего не болит”.

— А если бы болело, сказал бы? — спросила Калдония.

Время близилось к трём ночи, два часа назад она отпустила Лоретту, горничную, которая прислуживала ей с самого дня свадьбы.

— Я от тебя правду скрывать не привык, — сказал Генри тогда, на четвёртую ночь. — И сейчас не стану.

Он получил кое-какое образование, когда ему было двадцать — двадцать один, и учился он ровно столько, чтобы по достоинству оценить такую жену, как Калдония, — цветную женщину, рождённую свободной, которая училась с детства. Женитьба изначально не входила в его планы.

— Что ж ты не ложишься, родная? — спросил Генри. — Меня уже в сон клонит, не жди, когда я усну. — Он лежал в “лазарете”, как называли эту комнату домашние слуги, перебрался туда в первый день болезни, чтобы не тревожить ночами Калдонию.

— Мне и здесь хорошо, — ответила она.

В ту ночь похолодало, и Генри был в свежей одежде — прежняя, в которую его переодели около девяти вечера, пропотела насквозь.

— Почитать тебе? — спросила Калдония, кутаясь в ажурную шаль, что привёз ей Генри из Ричмонда. Он заплатил белому мальчишке, чтобы тот зашёл в магазин и купил для него шаль, потому что чёрных в тот магазин не пускали. — Что-нибудь из Мильтона? Или из Библии?

Она сидела, поджав ноги, в большом кресле, набитом конским волосом, пододвинутом к кровати Генри. Справа и слева от кровати стояли столики, совсем крохотные — на каждом только и помещалось, что книга да подсвечник на три свечи, — на ножке толщиной с женское запястье. В подсвечнике справа все свечи потухли, а в левом горела всего одна. Камин не топили.

— Подустал я что-то от Мильтона, — вздохнул Генри. — А Библию лучше слушать днём, при солнце, когда видно всё, чем Бог меня одарил.

Два дня назад он отправил домой родителей, сказав, что ему лучше, ему и впрямь полегчало, но на следующий день, когда отец и мать были уже дома, вновь стало хуже. С отцом они уже лет десять как отдалились друг от друга, но у того хватало силы духа отбросить недовольство, если сын, его плоть и кровь, болен. Сказать по правде, отец приезжал к сыну на плантацию, лишь когда дела у того не ладились. За десять лет он навещал Генри раз семь, не больше. Когда мать приезжала к Генри — к здоровому ли, к больному — одна, то ночевала у него в доме, через две комнаты от спальни молодых. В день, когда Генри велел родителям ехать домой, они поднялись к нему, Генри улыбнулся, и оба поцеловали его на прощанье, отец в лоб, а мать в губы, как повелось у них с самого детства Генри. Если родители приезжали вдвоём, то никогда не ночевали в доме, который построил Генри вместе с рабом Моисеем, а оставались на ночь в любой свободной хижине. Так сделают они и в тот день, когда приедут хоронить своё единственное дитя.

— Может, спеть тебе? — Калдония коснулась руки Генри, свесившейся с кровати. — Хочешь, буду петь до первых птичьих трелей?

Образование дала ей вольная чернокожая, которая училась в Вашингтоне и Ричмонде. Учительница, Ферн Элстон, навестив Таунсендов три дня назад, вернулась к себе на плантацию — ей надо было работать, учить свободных чёрных детей округа Манчестер, чьим родителям это было по карману.

Калдония продолжала:

— Думаешь, Генри Таунсенд, все мои песни тебе уже знакомы? Нет, не все.

Замуж Ферн Элстон вышла за фермера, но жил он не сельским хозяйством, а азартной игрой, и в минуты отрезвления, когда Ферн удавалось, отбросив любовь, осознать, чего стоит её муж, она твердила себе, что он ведёт их прямиком в богадельню. У Ферн с мужем было двенадцать рабов. В 1855 году на весь округ Манчестер, штат Виргиния, свободных чёрных семей (муж, жена и хотя бы один ребёнок) было тридцать четыре, из них восемь владели рабами, и все они друг о друге знали. К началу войны между Севером и Югом чёрных рабовладельцев в округе осталось пять, в том числе угрюмый старик — согласно переписи 1860 года, законный владелец своей жены, пятерых детей и троих внуков. По той переписи в Манчестере насчитывалось две тысячи шестьсот семьдесят рабов, но переписчик, набожный судебный исполнитель, в день, когда отправлял в столицу отчёт, повздорил с женой, и все его расчёты пошли прахом, потому что он приписал лишнюю единичку.

Генри сказал:

— Нет. Песни подождут до другого раза, родная.

Чего ему хотелось, так это любить её — встать с этого одра и отправиться, ни на кого не опираясь, с женой

в постель, где за годы супружества провели они столько счастливых ночей.

Когда он умрёт, под конец седьмого дня, Ферн Элстон будет в комнате рядом с Калдонией. “Я всегда знала, что ты правильно выбрала мужа”, — скажет Ферн, оплакивая Генри, бывшего своего ученика. После окончания войны между Севером и Югом она признается журналисту, белому переселенцу из Канады, что из всех её учеников Генри был самым способным — такого, как Генри, она согласилась бы учить бесплатно. Лоретта, горничная Калдонии, в день смерти Генри тоже будет рядом, но не проронит ни слова, просто закроет хозяину глаза и набросит на лицо ему лоскутное одеяло, пошитое к Рождеству тремя рабынями за две недели.

Моисей прошёл вдоль ряда хижин к своей, ближайшей к хозяйскому дому. Элиас, сосед его, сидел на влажном пне возле своей хижины и выстругивал из сосновой чурочки куклу для дочери. Он ещё ни разу ничего ей не дарил. На гвозде, вбитом в дверной косяк, висел фонарь, но света было едва-едва, и Элиас работал, считай, вслепую. Но в дочери и двух сыновьях — младшему был всего год и месяц — он души не чаял, и нож чудесным образом слушался его, и правый глаз у куклы вышел как раз в нужном месте.

Моисей, не дойдя до Элиаса нескольких шагов, сказал:

— Завтра с утра тебе мула выводить.

— Знаю, — ответил Элиас.

Моисей продолжил идти, не остановившись.

— Разве я кому мешаю? — спросил Элиас. — Палочку строгаю, и всё.

Тут Моисей и остановился.

— Да хоть бы ты трон строгал для самого Господа нашего, мне-то что за дело? Говорю, с утра тебе мула выводить. Мул-то спит уже, так что и ты ложись спать. — Элиас не ответил, даже не пошевелился. Моисей продолжил: — Ежели тебе, приятель, не напоминать тыщу раз на дню, у тебя всё из башки вылетает.

Элиас был для Моисея как бельмо на глазу с тех самых пор, как Генри Таунсенд привёз его с невольничьей ярмарки, что устраивали под открытым небом на восточной окраине города Манчестера дважды в год — весной, а потом осенью, после сбора урожая. В тот самый день, когда Генри купил Элиаса, белые обсуждали, не построить ли крытый невольничий рынок, — в тот год всю весну лили дожди, и многие белые на ярмарке застудились, одна женщина умерла от лихорадки. Но осенью Бог расщедрился и дни стояли ясные, в самый раз для торговли рабами, и ни одна живая душа не заикнулась о постройке крытого рынка, так хороша была крыша, что дал для ярмарки сам Господь.

Итак, Моисей сказал Элиасу:

— Чтоб завтра с рассветом ждал меня тут, или никто тебя не спасёт, даже масса Генри.

С тем он и зашагал к своей хижине. Моисей был первым рабом, которого купил Генри Таунсенд — за триста двадцать пять долларов у Уильяма Роббинса, белого. Только спустя две с лишним недели Моисей понял, что это не шутка, что и впрямь негр, темнее даже, чем он сам, владеет отныне им и его тенью. В первые недели, ночуя в хижине рядом с Генри, Моисей думал:

положим, мир и без того чудно́ устроен, раз его сделали рабом у белых, — но когда Бог допустил, чтобы чёрные были рабами у таких же чёрных, он и вовсе вверх тормашками всё поставил. Да и где он, Бог, — может, давно на этот мир рукой махнул?

Стряхнув ногой с другой ноги стружки, Элиас снова взялся за нож. Правая нога у куклы никак ему не давалась, он хотел, чтобы кукла бежала, но согнутое колено выстругать всё не получалось. Посмотреть со стороны — так фигурка стоит на месте, но не так он задумал. Если колено не согнётся, придётся другую чурку искать и начинать заново, а хорошую чурку поди найди. Но если на то пошло, у его жены Селесты правая нога тоже не гнётся как следует — может, и для куклы это не беда? Селеста хромая всю жизнь, с первых шагов.

Моисей зашёл в хижину, где его встретили темнота и остывший очаг.

Снаружи подрагивал огонёк фонаря Элиаса, но вскоре и он почти погас. Элиас никогда не верил в здравомыслие Господа и принимал как должное мир, где цветные могут владеть рабами, и если б сейчас, под вечер, у него проклюнулись крылья, он бы и это принял как должное — строгал бы себе дальше куклу, и дело с концом. В хижине спят его хромоножка-жена и трое детей, и углей в очаге должно хватить до утра, а ночь опять будет холодной. Оставив ногу куклы в покое, Элиас снова взялся за голову, хоть он и так считал её совершенством — ничего не убавишь, не прибавишь. С тех пор как он вырезал для Селесты первый гребень, он научился строгать как следует. Волосы кукле он хотел сделать из кукурузных волокон, но

они потемнеют только к осени. Не беда, сгодятся и зелёные.

Моисей не был голоден, а потому не стал выговаривать жене и сыну, что очаг потух. Он лёг на соломенную циновку рядом с женой Присциллой. По другую сторону от неё посапывал сын. Присцилла смотрела, как медленно засыпает муж, а когда он уснул, прижала к щеке его ладонь, вдохнула запахи большого мира, что принёс он с собой, а потом и сама попыталась уснуть.

В последний день, в день смерти Генри Таунсенда, Ферн Элстон уехала домой рано, в двуколке, которой правил раб, шестидесятипятилетний старик, доставшийся её мужу в наследство от отца.

Несколько часов Ферн и Калдония просидели в гостиной за чашкой горячего молока с мёдом, излюбленного напитка матери Калдонии. Наверху у постели Генри в это время дежурила Зедди, кухарка, её сменила Лоретта, горничная Калдонии. Около семи вечера Калдония посоветовала Ферн лечь спать, но Ферн в те дни страдала бессонницей, и она предложила Калдонии вместе посидеть с Генри. Ферн учила не только Калдонию, но и её брата-близнеца. Свободных образованных женщин в округе Манчестер можно было сосчитать по пальцам, и от одиночества Ферн выбрала в подруги бывшую ученицу, которая в детстве частенько находила поводы для смеха в цитатах из Шекспира.

В спальню они поднялись около восьми вечера, Калдония сказала Лоретте, что позовёт её, если надо, и Лоретта, кивнув, ушла к себе в комнату в дальнем

конце коридора. А Ферн, Генри и Калдония заговорили о виргинской жаре, о том, как она изматывает человека. Генри однажды был в Северной Каролине и понял, что виргинская жара не сравнится с тамошней. Вечер опять выдался довольно прохладный. Генри не пришлось снова менять одежду — во что его переодели в шесть часов, в том и спал. Уснул он ближе к девяти вечера, но вскоре проснулся. Его жена и Ферн обсуждали стихотворение Томаса Грея•. Генри стихотворение узнал, но пока он обдумывал, что сказать, в комнату вошла смерть и подступила к нему вплотную: Генри поднялся по лестнице в крохотный домик, сознавая с каждым шагом, что дом не его, что он здесь всего лишь постоялец. Слов нет, как он был огорчён; он услыхал шаги за спиной, и смерть сказала, что это Калдония и она тоже огорчена. Тот, кто сдавал ему дом, обещал тысячу комнат, но, обойдя дом, Генри убедился, что их всего три-четыре и все одинаковые, да ещё и потолки низкие, упираешься головой. “Так не пойдёт”, — ворчал под нос Генри, и едва он обернулся, чтобы сказать Калдонии: “Жена, жена, полюбуйся, что они натворили, что натворили”, как услышал голос Бога: “Не жена, Генри, — вдова”.

Лишь спустя несколько минут Калдония и Ферн поняли, что Генри умер, а пока что продолжали разговор об одной белой вдове с двумя рабынями, которая жила на ферме в глухом углу Виргинии, близ Монтросса, где на много миль кругом ни одного белого. Новость об этой молодой женщине, Элизабет Марсон,

• Томас Грей (1716—1771) — английский поэт-сентименталист XVIII века, историк литературы.

в округе Манчестер запоздала на год, но Калдония и Ферн, сидя в комнате подле мёртвого Генри, говорили о ней так, будто это случилось вчера. Когда у той белой женщины умер муж, её рабыни Мирта и Дестини захватили в доме власть, а бывшую хозяйку держали в плену, заставляли работать круглые сутки, до кровавого пота, и она поседела. Как поняла Калдония, обеих рабынь продали, а на вырученные деньги купили для Элизабет новый дом, подальше от того страшного места, но Ферн сказала, что рабынь, скорее всего, казнили. Когда Элизабет наконец вызволили, она далеко не сразу вспомнила, что ферма принадлежит ей. Тут Калдония обратила внимание, что Генри неподвижен, и подалась к нему. Тряхнула за плечо, вскрикнула. В спальню неслышно ступила Лоретта, взяла с тумбочки ручное зеркальце. Поднесла его к носу Генри, а Калдонии в тот миг причудилось, что душа его отделилась от тела, но отлетела недалеко, и если позвать погромче, крикнуть в самое ухо, да так, чтоб услышал не только он, но и все рабы в поместье, то муж вернётся и будет с ней и дальше. Она взяла руку Генри, прижала к щеке. Ладонь ещё не остыла, и Калдония спросила себя: может, пока теплится эта жизнь, то он и раздумает умирать? Калдонии минуло двадцать восемь, и она была бездетна.

Элис, ту помешанную, что застала Моисея в лесу, Генри купил за полгода до своей смерти. С первых же дней она взяла привычку слоняться ночами по поместью — распевала песни, бормотала себе под нос и вытворяла такое, что у патрульных волосы вставали

дыбом. Плевалась, била их лошадей за то, что они, мол, плетут про неё небылицы соседям, особенно младшему сынишке Элиаса, “крошечке-мальчишечке”, за которого она якобы собиралась замуж, как только уберут урожай. Хватала патрульных между ног и просила с ней потанцевать, потому что её суженый делает вид, будто знать её не знает. Называла белых патрульных выдуманными именами, объявляла им день и час, когда Господь заберёт их на небеса с чадами и домочадцами, а оттуда швырнёт с размаху в пекло, словно земляничины в чашку сливок.

Первое время патрульные каждую ночь возвращали Элис на плантацию и будили Генри с Калдонией — один подъезжал верхом к крыльцу и стучал в дверь рукояткой пистолета. “Ваше имущество разгуливает тут на свободе, а вы спите себе! — кричал он, а Элис, хихикая, каталась по земле. — Выходите, полюбуйтесь, что ваше имущество тут вытворяет!” Выходил Генри и в который раз объяснял, что никому, даже надсмотрщику, удержать Элис не под силу. Моисей предлагал её связывать на ночь, но Калдония ни в какую. Элис и мухи не обидит, отвечал Генри, спускаясь с крыльца в нижней рубашке и помогая Элис встать с земли. Не беда, что у неё половину ума отшибло, работник она хороший, растолковывал он двоим-троим патрульным, у которых своих рабов не было, но умалчивал о том, что обошлась ему полоумная рабыня намного дешевле той, у которой ум в целости. Двести двадцать восемь долларов да два бушеля яблок, которые на еду не годятся, разве что на сидр, да и то выйдет кислятина, от которой зубы сводит. Патрульные с тем и отъезжали. “Вот что бывает, — говорили они друг другу на

обратном пути, — если черномазым дать те же права, что и белым".

Спустя недели две-три патрульные привыкли к ночным блужданиям Элис и перестали обращать на неё внимание — всё равно что сова ухнет или кролик перебежит дорогу. Случалось, если патрульные уставали от разговоров или ждали жалованье от шерифа Джона Скиффингтона, то они, не слезая с коней, потешались над Элис, когда та распевала у дороги свои негритянские песни. Самое веселье было в полнолуние — при свете луны не так страшны и ночь, и полоумная рабыня с её плясками. В лунных лучах оживала её тень, металась у дороги, и успокаивались лошади, и смолкали сверчки. Но если патрульные были не в духе, если шёл дождь и их видавшая виды одежда промокала насквозь, если лошади беспокоились и ноги затекали от долгой езды, то патрульные осыпали Элис руганью. За эти полгода они не раз слышали от других белых, что полоумная чёрная рабыня, которая распевает по ночам, — всё равно что цыплёнок о двух головах или курица, что кричит петухом. Дурная примета. К большой беде, а значит, лучше придержать языки.

Дождливой ночью, когда умер Генри, её хозяин, Элис вышла из хижины, где она жила с Дельфи и её дочерью Кассандрой. Дельфи в свои без малого сорок четыре считала, что в мире хватает опасностей пострашней безумной рабыни, и то же говорила дочери, которая сперва боялась Элис. В тот вечер, выйдя за порог, Элис увидела Элиаса с сосновой чурочкой и ножом — он стоял на крыльце своей хижины, пережидая дождь.

— Идём со мной, — пропела она. — Пошли же. Идём, приятель.